

НЕСЛОМЛЕННАЯ

До восемнадцати

ВОСПОМИНАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

18+

Вжеса Вжеса Несломленная. До восемнадцати

<https://litres.ru/74462883>

SelfPub; 2026

Аннотация

Какой должна быть жизнь ребёнка, которому всего четыре года, но он уже умеет распознавать настроение взрослых по звуку шагов, заботиться о младшем брате и прятаться от очередного семейного скандала?

«Несломленная» — пронзительные личные воспоминания о трудном детстве, семейных травмах и раннем взрослении. Это честная история о том, как сохранить способность любить, когда тебя не всегда умели любить правильно, и как даже из самого болезненного прошлого вынести не только раны, но и силу жить дальше.

Содержание

Глава 1. Стеклопанельная дверь.	4
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Вжеса

Несломленная.

До восемнадцати

Глава 1. Стеклоанная дверь.

Первое, что я помню о своём детстве, — стены.

Грязные, бетонные, плохо покрашенные стены в подъездах серых девятиэтажек спального района столицы. Каждую шероховатость, каждую трещину, каждую надпись, оставленную чужой рукой. Имена, ругательства, неровные признания в любви — следы чужих жизней, о которых я ничего не знала.

Людам почему-то кажется, что в столице всё иначе. Ярче. Интереснее. Быстрее. Цивилизованнее, чем в других, более отдалённых местах.

Наверное, отчасти это правда.

Где-то в центре действительно сияли витрины, горели вывески и ходили хорошо одетые люди. Где-то там находилась другая столица — красивая, шумная, недоступная. Но до неё нужно было ещё добраться. А здесь, на окраине, жизнь ничем не отличалась от жизни в любом другом неблагополучном районе.

Она текла медленно, липко и грязно.

Жизнь отдалённого района в начале двухтысячных.

Маленькая жизнь маленькой девочки.

Говорят, дети начинают по-настоящему осознавать себя примерно в три-четыре года. До этого мир существует отдельными вспышками: голосами, лицами, запахами, случайными картинками. А потом однажды память включается — и с этого момента человек начинает собирать самого себя.

Мне было четыре.

Я была очень светлым ребёнком. Русые волосы на солнце отливали золотом, но почти всегда оставались распушенными и спутанными. Расчёсывать их было некому, а мне самой — незачем. Они падали на лицо, лезли в глаза, и я то и дело отбрасывала их назад привычным движением головы.

Кожа у меня была бледная, холодная, почти прозрачная. Под ней проступали тонкие голубые сосуды, а под глазами лежали тени, которые не исчезали даже после сна. Я была маленькой, худой и костлявой: узкие плечи, острые локти, тонкие запястья.

Одежда всегда была мне велика. Не потому, что её покупали на вырост. Мне дома практически никогда не покупали одежду — почти вся она доставалась с чужого плеча. Рукава приходилось подворачивать, штанины собирались складками, а растянутые воротники сползали с узких плеч. Я словно всё время носила вещи, предназначенные для какого-то другого ребёнка — более крупного и, возможно, более нужного.

Но больше всего в моей внешности запоминались глаза.

У папы они были карими, у мамы — ярко-голубыми. В первый год жизни мои глаза тоже оставались голубыми, а потом цвет начал меняться. Голубизна смешалась с зеленью и чем-то желтоватым, и получился странный оттенок, которому взрослые подобрали неприятное для меня слово — болотный.

Мне оно ужасно не нравилось.

В нём слышалось что-то мутное, грязное и какое-то слишком «фу». Будто мои глаза сравнивали не с чем-нибудь красивым, а со стоячей водой, тиной и вязкой жижей, в которую страшно наступить ногой.

Сама я предпочитала считать их зелёно-жёлтыми.

Словно я взяла от обоих родителей понемногу, но в итоге всё равно получилась отдельной — ни на кого из них до конца не похожей.

Для маленького детского лица глаза у меня были слишком большими. Но детской открытости в них почти не было. Я смотрела на людей исподлобья, внимательно и тяжело, будто прежде, чем подпустить человека ближе, должна была понять, чего от него ждать.

На детских фотографиях я почти никогда не улыбаюсь. Сажу с плотно сжатыми губами, чуть опустив голову, и настороженно смотрю в объектив. Маленький растрёпанный зверёк, который ещё не знает, куда сможет убежать, но уже заранее ищет путь к отступлению.

Так я и выглядела: маленькая, бледная, зеленоглазая девочка в чужой одежде, с вечно спутанными волосами и слишком взрослым взглядом.

Дальше это почти не изменится. Я буду расти, научусь сама расчёсываться и подворачивать рукава так, чтобы они не мешали. Но ещё много лет останусь такой же светлой, растрёпанной и настороженной.

В четыре года я уже умела многое из того, чего детям этого возраста уметь не полагается.

Не потому, что была особенно умной или развитой. Просто, когда с самого рождения тебе приходится прислушиваться, присматриваться и угадывать настроение взрослых раньше, чем они успеют открыть рот, взросление происходит немного быстрее.

Я знала, что раз в несколько часов нужно обязательно подойти к грудному брату и проверить пелёнки — чтобы он, не дай бог, не заперел. Знала, как покормить его жидкой манной кашей на воде из бутылочки, чтобы у него не болел живот от голода. Знала, что нельзя слишком громко ходить, разговаривать или плакать.

И ещё я знала, что нужно постоянно слушать.

Слушать, как открывается входная дверь.

Как человек ставит обувь в коридоре.

Как он дышит.

Как разговаривает.

Какой у него голос.

Потому что по звукам можно было понять, что произойдёт дальше. А если понять достаточно быстро — возможно, успеешь не оказаться виноватой.

Снаружи девятиэтажки люди жили какой-то своей жизнью. Они ходили на работу, гуляли с детьми, покупали продукты, ездили в центр. Но до них мне не было никакого дела.

Они были где-то далеко.

А мой мир находился здесь — в закрытой комнатке трёхкомнатной квартиры, где, помимо меня и братика, жили ещё пять человек.

Иногда шесть — если мать с отцом снова сходились.

Брата я любила всегда. Забота о нём никогда не казалась мне чем-то тяжёлым или несправедливым. Наверное, потому, что я не знала, что четырёхлетние дети вообще-то не должны отвечать за младенцев.

Для меня это было естественно.

Братик будто чувствовал, в какой именно семье родился, и старался причинять как можно меньше неудобств. Он был удивительно спокойным, почти бесшумным малышом. Практически никогда не плакал и не кричал — словно уже тогда понимал, что в наших обстоятельствах это бесполезно.

В тот день мы с ним находились в комнате, когда в прихожей с грохотом захлопнулась железная дверь.

Я замерла.

Сначала хлопок.

Потом — глухой удар о деревянный шкаф в коридоре.

Кто-то не удержался на ногах и врезался в него плечом.
Значит, пришедший был нетрезв.

Вариантов оставалось три.

Это мог быть дедушка, вернувшийся с работы на лесопилке. Могла прийти мама. Или мама привела с собой отца — тоже навеселе.

В первом случае можно было рискнуть и выйти из комнаты. От слегка выпившего дедушки иногда перепадало что-нибудь хорошее: кусочек сырокопчёной колбасы, конфета или жвачка.

Если же пришла мама — одна или вместе с отцом, — лучше было сидеть тихо. Они сами найдут меня, если понадобится. А заранее попадаться им на глаза не стоило.

Из коридора донеслось шарканье тапочек.

Бабушка вышла встречать того, кто пришёл.

Я приблизилась к закрытой двери и приложила к ней ухо.
— Володенька, ну что же ты опять?

— Отстань от меня, Лариса.

Дедушка.

Я немного успокоилась.

Потом собрала всю свою смелость в кулак, осторожно приоткрыла дверь и высунула голову в коридор.

— О, Алёнка! — сразу заметил меня дедушка.

Он улыбался и опирался ладонью о стену, пытаясь удерживать равновесие.

— Подь сюды.

Дедушка оттолкнулся от стены и попытался выпрямиться. На мгновение ему почти удалось встать ровно, но затем его снова повело в сторону.

Живот привычно стянуло липким страхом.

Так происходило рядом с любым нетрезвым человеком. Неважно, улыбался он или кричал. Я всё равно напрягалась и начинала внимательно следить за каждым его движением.

Преодолев страх, я вышла в коридор и подошла к дедушке.

Он казался мне огромным. Очень высоким, широкоплечим и потому немного страшным, хотя лично мне никогда ничего плохого не делал.

Боялась я не столько его самого, сколько того, что могло последовать за моим выходом из комнаты.

Мать запрещала мне покидать её без разрешения.

Однажды я уже нарушила этот запрет.

И всё закончилось очень плохо.

Это случилось примерно за месяц до того дня.

Дедушка пришёл с работы в необычайно хорошем настроении. Он только что получил зарплату и, должно быть, хотел сделать для нас что-нибудь доброе. Позвал свою младшую дочь, мою тётю Иру, которой тогда было около тринадцати, и меня сходить вместе с ним в магазин.

Он сказал, что мы сможем сами выбрать себе любые сладости и жвачки.

Для ребёнка, который питался в основном кашами на во-

де, это звучало почти как приглашение в сказку.

На улице стоял тёплый день.

Мы шли втроём мимо детской площадки. Там были скрипучие качели, ржавая горка и песочница, в которой кто-то оставил перевёрнутое ведёрко. На площадке играли дети, и я на несколько секунд засмотрелась на них.

На их свободные, ничем не занятые руки.

На то, как они бегали, смеялись и спорили.

Как не прислушивались к голосам взрослых.

Как не следили ни за чьим настроением.

Как никого не боялись.

Над нами шумели высокие деревья. Сквозь зелёную листву пробивалось солнце, и по асфальту медленно плыли пятна света.

В тот день мне казалось, что весь мир на короткое время стал добрым.

Мы дошли до небольшого ларька, в котором продавались всевозможные вкусные вредности. Я долго смотрела на яркие упаковки, не веря, что мне действительно разрешено выбирать.

Дедушка купил мне несколько конфет. Настоящую большую круглую жвачку «Хубба Бубба», которую я давно мечтала попробовать. И даже — о боги! — целую пачку сухариков «3 корочки».

Словами невозможно передать, насколько я была счастлива.

Обратно я шла чуть ли не вприпрыжку. Сжимала в кулаке сладости и то и дело проверяла, на месте ли они. Над головой было светлое небо, в лицо дул свежий ветер, а рядом шли дедушка и Ира.

Ни одного тревожного звука.

Ни одного крика.

Ни малейшего предчувствия того, что это последние спокойные минуты того дня.

Но едва мы переступили порог квартиры, я почувствовала: что-то не так.

Не поняла — почувствовала.

Наверное, дети, живущие среди постоянных скандалов, рано учатся распознавать опасность. Иногда по голосу. Иногда по тишине. Иногда по тому, как открыта дверь или стоит человек.

Дверь на кухню была распахнута настежь.

От входной двери до кухни — всего десять моих детских шагов. Я ещё не успела снять обувь, но уже прекрасно видела маму, стоявшую у окна.

Она вся дрожала от злости.

Мама повернула голову, и по выражению её лица я поняла: скандала не избежать.

Я хотела бы спрятаться, не видеть и не слышать того, что произойдёт дальше.

Но я всё видела и слышала.

И, к сожалению, запомнила навсегда.

Крики.

Ругань.

Выяснение отношений.

Мама кричала на дедушку, что он не имел права без её разрешения куда-то меня уводить.

Что я принадлежу ей.

Что никто не смеет распоряжаться мной без её ведома.

Я стояла в коридоре, сжимая в руке конфеты, и понимала только одно:

всё это из-за меня и моего глупого непослушания.

Из-за меня мать орёт на дедушку.

Из-за меня пытается налететь на него.

Из-за меня хочет вцепиться ногтями ему в лицо.

Дедушка отталкивает её, и мама ударяется о холодильник. От боли и обиды она становится ещё злее и яростнее. Снова отчаянно бросается на него, пытаясь драться, как дикая кошка.

Из-за меня дедушка тоже начинает выходить из себя.

Из-за меня хватает её за руки и скручивает.

Из-за меня укладывает на пол.

Мама никак не успокаивается. Она извивается, пытается вырваться, кричит и зовёт на помощь.

А потом дедушка ударяет её головой об пол.

Тоже из-за меня.

Именно так я воспринимала случившееся в свои четыре года.

Не взрослые не смогли справиться со своей яростью.

Не мама начала драку.

Не дедушка применил силу.

Это я без разрешения вышла из комнаты.

Я пошла в магазин.

Я взяла конфеты.

Я ослушалась.

Значит, всё произошло из-за меня.

Я не помню, что стало со сладостями. Возможно, так и продолжала держать их в кулаке. Возможно, выронила на пол. Может быть, кто-то потом забрал их и положил на стол.

В памяти остались не они.

Осталось ощущение, что за счастье всегда приходится расплачиваться.

Если тебе дали то, чего ты очень хотела, вскоре обязательно произойдёт что-то плохое.

Именно поэтому месяц спустя мне было так страшно подходить к дедушке, когда он меня подозвал.

Но я всё-таки подошла.

Он неловко положил большую ладонь мне на голову и погладил по волосам.

Бабушка посмотрела на меня и с тихой нежностью произнесла:

— Горе ты наше луковое.

Она говорила именно обо мне.

Но в её голосе было столько любви, что эти слова совсем

не показались мне обидными. Наоборот — я услышала в них что-то ласковое, домашнее и щемящее. Будто быть их горем луковым означало всё равно оставаться своей.

Для меня это прозвучало почти как комплимент.

— Ларис, иди подогрей нам супа, — попросил дедушка.

Бабушка ничего не ответила. Только вздохнула и пошла на кухню разогревать куриный суп в старенькой железной кастрюльке на газовой плите.

Мы с бабушкой направились через большую комнату в угловую.

Квартира была тесной, но в моём детском восприятии казалась огромной. Она состояла не столько из комнат, сколько из отдельных миров, соединённых узким коридором.

В одной комнате жили мама, брат и я. Там стояла кровать, на которой спал братик, и там проходила почти вся моя жизнь.

В большой комнате жили бабушка с дедушкой и на тот момент тётя Ира.

Угловая комната принадлежала бабе Шуре — матери дедушки. Она уже почти не вставала с постели и наблюдала оттуда за всем, что происходило в квартире.

Мы проходили мимо её кровати, а я привычно пыталась по выражению лица определить, в каком она настроении.

Сегодня баба Шура смотрела на всех с лёгким презрением и недовольством. Впрочем, так она смотрела почти всегда. Будто все вокруг, кроме дедушки, были в этом доме неже-

ланными и назойливыми гостями, которых она лично в свою обитель не звала.

Сколько ей было лет, я не знала.

Тогда она казалась мне невероятно старой — такой старой, будто жила всегда. Теперь я могу лишь предположить, что ей было немногим больше шестидесяти. Бабушке и дедушке на тот момент едва исполнилось по сорок, а маме было около двадцати.

Но возраст в нашей квартире измерялся не годами.

Он измерялся тем, кто кому имел право приказывать.

Для бабы Шуры дедушка, взрослый мужчина, всё ещё оставался сыном. Бабушка — невесткой. Мама и Ира — внучками. А я — правнучкой, самым младшим звеном этой длинной семейной цепи.

И каждый из нас по-своему чувствовал, какое место ему отведено.

— Привет, мам, — коротко и как-то устало произнёс дедушка.

Баба Шура что-то проворчала в ответ.

Дедушка, сильно шатаясь, прошёл мимо её кровати к балкону.

От кровати бабы Шуры до балконной двери было около пятнадцати моих детских шагов — чуть больше, чем от входной двери квартиры до кухни.

Я пошла за дедушкой.

Он приблизился к большой тяжёлой двери со стеклом по-

чти во всю высоту. Чтобы открыть её, нужно было поднять верхнюю щеколду. Дедушка встал на небольшую ступеньку перед балконом, потянулся вверх и начал возиться с задвижкой.

Я находилась неподалёку и наблюдала за ним.

Дальше всё произошло так быстро, что моя память сохранила случившееся отдельными вспышками.

Баба Шура что-то сказала.

Я не помню точных слов. Возможно, снова стала ругать бабушку или маму. Возможно, возмутилась тем, что я без разрешения вошла в её комнату. В памяти осталась только интонация — та самая, с которой она говорила всегда, когда была недовольна всем миром.

Дедушка резко обернулся на её голос.

Его нога соскользнула со ступеньки.

Он пошатнулся.

Попытался ухватиться за занавеску, но тонкая ткань не смогла удержать взрослого мужчину. Наоборот — дёрнув её на себя, он окончательно потерял равновесие.

И начал падать.

На несколько мгновений всё будто замедлилось.

Я видела, как он пытается выставить руку.

Как занавеска срывается следом за ним.

Как дедушкино тело летит назад — прямо на стеклянную балконную дверь.

А затем раздался страшный треск.

Не просто звон разбитого стекла.

Мне показалось, что раскололась вся комната.

Дедушка головой влетел в самый центр двери и разбил её собой.

Я не знаю, закричала ли.

Не помню, плакала ли.

Помню только, что ноги перестали мне подчиняться.

Я не могла ни подойти, ни убежать. Стояла на месте и смотрела.

Осколки были повсюду.

На полу.

На ступеньке.

На дедушкиной одежде.

Вокруг него быстро появлялась кровь.

Потом время словно сорвалось с места и понеслось так стремительно, что я перестала понимать, что происходит.

Бабушка прибежала с кухни. Она закричала и бросилась к дедушке, не обращая внимания на стекло под ногами.

Баба Шура плакала и причитала.

Кто-то вызывал скорую.

Кто-то пытался остановить кровь.

А дедушка самостоятельно выбрался из разбитой двери.

Я видела это своими глазами.

Он сам выбрался из осколков, поднялся и сказал всем успокоиться и не кудахтать. Произнёс это так, будто ничего непоправимого не произошло. Будто он просто неудачно

упал, слегка поранился и взрослые зря подняли вокруг него такой шум.

Дедушка был в сознании.

Он разговаривал.

Сам двигался.

Самостоятельно дошёл до кровати и лёг, чтобы врачи скорой помощи смогли ему помочь.

Всё это я видела.

И именно поэтому случившееся потом оказалось для меня ещё более непостижимым.

Скорая приехала быстро.

Врачи вошли с тяжёлыми сумками, задавая вопросы, на которые все пытались отвечать одновременно. Они прошли в комнату, где лежал дедушка, и закрыли за собой дверь.

Теперь они должны были его спасти.

Для этого ведь и приезжает скорая помощь.

Мама и тётя Ира возникли в этой кутерьме будто из ниоткуда. Я не заметила, когда именно они вошли. Время то оставалось, то несло вперёд, и я уже не успевала понимать, кто куда идёт, откуда доносятся голоса и почему взрослые смотрят друг на друга именно так.

Не помню и того, кто первым вспомнил обо мне.

Кто понял, что четырёхлетнему ребёнку не следует стоять среди крови, осколков и кричащих взрослых.

Кто-то взял меня за плечи и отвёл в нашу с братом и мамой комнатку.

Дверь за мной закрыли.

Я осталась ждать.

Братик по-прежнему лежал спокойно, словно в квартире не произошло ничего необычного. Наверное, я подошла к нему. Возможно, проверила пелёнки или просто посмотрела, дышит ли он.

Когда весь мир вокруг становился непонятным, забота о брате оставалась единственной понятной вещью.

Я не думала, что дедушка может умереть.

Как я могла так подумать?

Он ведь сам выбрался из разбитой двери.

Сам поднялся.

Сам велел всем успокоиться и не кудахтать.

Сам лёг на кровать, чтобы врачи смогли ему помочь.

Он был живым. Разговаривал. Двигался. Отвечал взрослым.

А потом приехала скорая.

Значит, теперь всё обязательно должно было закончиться хорошо.

Спустя какое-то время в комнату вошла Ира.

Ей самой было всего тринадцать лет.

Сегодня я понимаю: ко мне пришёл не взрослый человек, способный спокойно объяснить ребёнку случившееся. Пришла девочка-подросток, которая только что потеряла отца.

Но тогда тринадцатилетние казались мне почти взрослыми.

Лицо у Иры было совсем другим. Я никогда прежде не видела его таким. Глаза покраснели и опухли от слёз. Она смотрела на меня так, будто ждала чего-то очень важного.

Какой-то правильной реакции.

Слов.

Слёз.

Возможно, ей хотелось, чтобы я заплакала вместе с ней. Чтобы мы обнялись и разделили то, что только что произошло.

Она — тринадцатилетняя девочка, у которой умер папа.

И я — четырёхлетняя девочка, для которой дедушка был одним из немногих взрослых, способных иногда принести в жизнь что-нибудь хорошее.

Но я не знала, чего она от меня ждёт.

Я вообще не понимала, что значит «умер».

Смерть была для меня словом из сказок. Там кто-нибудь умирал, а затем оживал, находил волшебную воду или просто появлялся на следующей странице. Настоящий человек не мог исчезнуть за закрытой дверью за несколько минут.

Кроме того, Ира часто меня разыгрывала. Любила подшутить, рассказать что-нибудь неправдоподобное и посмотреть, поверю ли я. Поэтому я давно привыкла не принимать её слова всерьёз сразу.

Ни смешные.

Ни страшные.

Ира сделала ещё один шаг ко мне.

— Папа умер, — произнесла она.

Голос у неё дрожал.

— Алёна... Он... Твой дедушка умер... Скажи что-нибудь... Алёна...

Несколько секунд я молча смотрела ей в глаза.

А потом рассмеялась.

Именно такой была моя первая реакция на смерть.

Смех.

Я не хотела оскорбить Иру. Не радовалась тому, что произошло. Не понимала жестокости своей реакции.

Я просто ей не поверила.

Решила, что она опять меня разыгрывает.

Ведь совсем недавно я своими глазами видела дедушку живым.

Видела, как он самостоятельно выбрался из разбитой двери.

Как велел всем успокоиться и не кудахтать.

Как сам дошёл до кровати и лёг, чтобы врачи могли ему помочь.

Потом приехала скорая. Врачи закрыли дверь и остались с ним.

Ну не могло же быть такого, чтобы человек сам выбрался из разбитой двери, поднялся, заговорил, лёг на кровать — и через несколько минут умер.

Не могло же?

Мой смех не был весёлым.

Наверное, сейчас его назвали бы истерическим. Это был смех маленького ребёнка, столкнувшегося с чем-то настолько страшным и непонятным, что сознание просто отказалось это принимать.

Если рассмеяться, всё окажется шуткой.

Если не поверить, дедушка не умрёт.

Если подождать ещё немного, дверь откроется, он выйдет из комнаты и снова велит всем успокоиться и не кудахтать.

Но для Иры мой смех стал ещё одним ударом.

Она не могла знать, что творится у меня в голове. Не могла увидеть за этой реакцией страх, растерянность и полное непонимание смерти.

Она увидела только одно:

девочка смеётся, когда ей сообщают, что дедушка умер.

Эту историю мне потом пересказывали ещё много раз.

Как я смеялась, услышав о его смерти.

Как будто в этом смехе было что-то неправильное во мне самой.

Как будто он говорил обо мне больше, чем все мои четыре года жизни.

Позже в семье появилась своя версия случившегося. Говорили, что виноваты врачи скорой помощи: будто они сделали дедушке укол, несовместимый с алкоголем, и у него остановилось сердце.

Я не знаю, правда ли это.

Не знаю, можно ли было его спасти.

Не знаю, что именно происходило за закрытой дверью.

Знаю только, что после смерти бабушки взрослые начали искать виноватого.

Врачей.

Алкоголь.

Друг друга.

А я, как всегда, решила, что виновата, скорее всего, я.

Возможно, потому, что была рядом.

Потому, что вышла из комнаты, хотя мама запрещала.

Потому, что подошла к бабушке, когда он позвал.

Потому, что пошла за ним в комнату бабушки Шуры.

В детском мире причина и следствие устроены просто: если после твоего поступка случилось что-то страшное, значит, это ты всё испортила.

Однажды я уже вышла без разрешения — и бабушка ударил маму головой об пол.

Теперь я снова вышла — и бабушка умер.

Мне было четыре года.

Я ещё не понимала смерти.

Но чувство вины уже понимала прекрасно.

От входной двери до кухни в нашей квартире было всего десять моих детских шагов.

От кровати бабушки Шуры до балконной двери — около пятнадцати. Чуть больше.

Бабушке хватило этих пятнадцати шагов и одного неверного движения, чтобы разделить нашу жизнь на «до» и «по-

сле».

До того дня у нашей семьи ещё сохранялось какое-то маленькое, хрупкое подобие благополучия. Оно держалось не на любви и не на спокойствии. Скорее на привычке, редких добрых минутах, курином супе в старенькой кастрюльке, кусочке колбасы, принесённом с работы, и конфетах, зажатых в детском кулаке.

После его смерти не осталось даже этого.

Врачи ушли.

Осколки убрали.

Кровь отмыли.

Разбитую дверь со временем заменили.

Но прежней жизни больше не было.

И моё детство, едва успев начаться, в тот день закончилось вместе с ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.